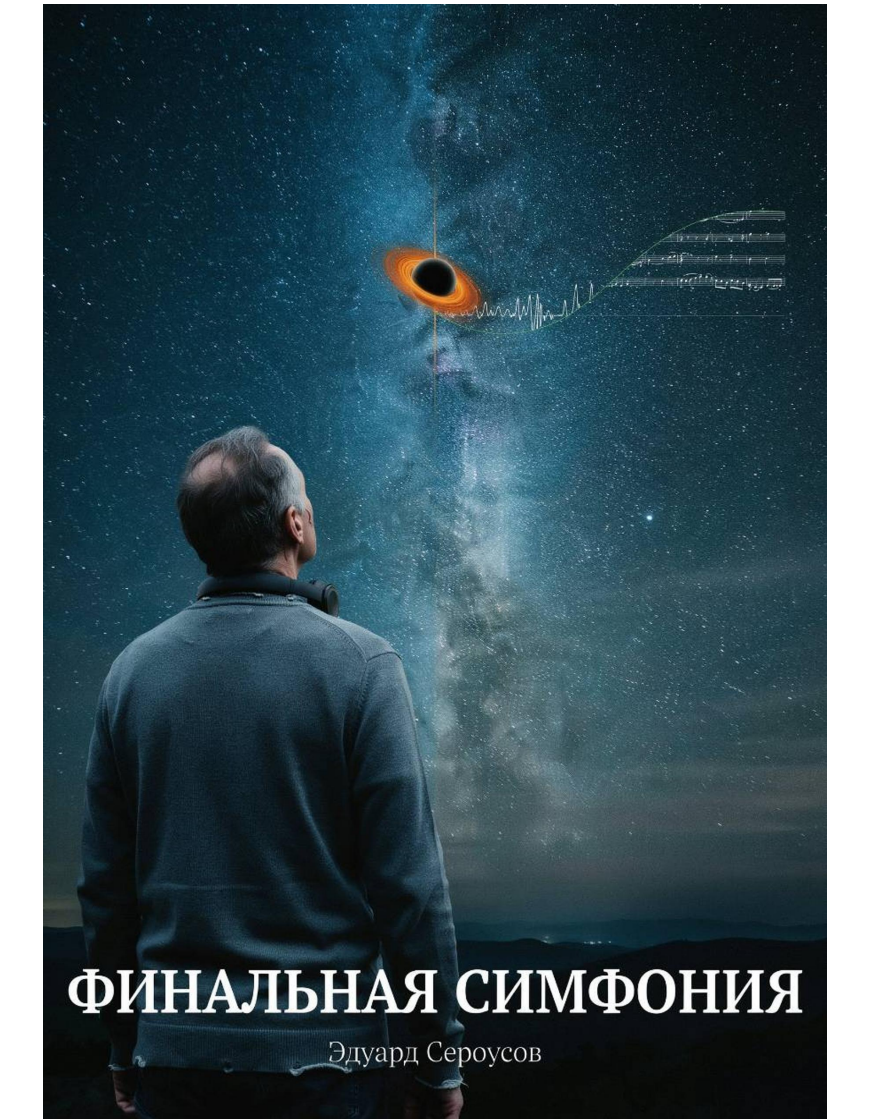




ФИНАЛЬНАЯ СИМФОНИЯ

Эдуард Сероусов

Эдуард Сероусов

Финальная симфония

<https://litres.ru/74166482>

SelfPub; 2026

Аннотация

Глухой радиоастроном Дмитрий Волков замечает в радиошуме из сердца Млечного Пути то, что не может быть природой: ритмический почерк, партитуру, тему с развитием. Расшифровать её способен лишь один человек — спившийся физик, которую за это пророчество одиннадцать лет назад вычеркнули из науки. Вдвоём они понимают: чужая цивилизация сворачивает Вселенную к одной точке, по нотам, и в их собственном посёлке уже стоит крошечный камертон будущего конца. А пока учёные борются, основатель корпорации продаёт избранным цифровое бессмертие в новой Вселенной. И только глухой, читающий музыку глазами, может сыграть единственную фальшивую ноту.

Содержание

Часть 1. Почерк	4
Часть 2. Кассандра	16
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Эдуард Сероусов

Финальная симфония

Часть 1. Почерк

В три часа ночи Вселенная состояла из света.

Дмитрий Волков сидел перед шестью мониторами, и по каждому текла своя река. Зелёные каскады спектрограмм опадали сверху вниз, дробились на пики и впадины, складывались в рельеф — горы помех, долины пустоты. Для всех остальных в зале это был шум. Для него — единственная музыка, которую он мог себе позволить.

Слух забрал дождь. Дождь, мокрый асфальт и одна секунда, которую он прокручивал тысячу раз и не мог переписать. С тех пор мир для Дмитрия стал немым кино с отличной картинкой. Он научился читать его глазами: видел, как дрожит вода в стакане, когда мимо корпуса проезжает грузовик; видел, как хлопает дверь, по тому, как вздрагивает занавеска. И он научился видеть радио.

Большая антенна станции — двести тонн стали, нацеленные в сердце Галактики, — превращала радишум в числа, числа в линии, линии в этот зелёный водопад. Дмитрий клал ладонь на стойку приёмника и ловил кончиками пальцев её ровную дрожь. Это была не музыка в человеческом смысле.

Но это был ритм, а ритм он мог держать без ушей.

Врачи называли это нейропластичностью — сухим словом для странного дара. Когда уши умолкли, мозг не смирился с тишиной: он перекинул осиротевшие слуховые поля на зрение, срастил их, и теперь Дмитрий не просто смотрел на спектрограмму — он слышал её глазами, всем тем участком себя, что раньше слушал звук. Структуру сигнала, его ритм, его мелодический ход он чувствовал нутром, как слышащий чувствует музыку, — может быть, даже острее любого слышащего, потому что слышащему есть на что отвлечься, а ему оставалось только это. Глухота не отняла у него музыку. Она переселила её в глаза.

Источник назывался Стрелец А-звезда. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Млечного Пути, четыре миллиона солнц, свёрнутых в точку. Оттуда не доносилось ничего, кроме помех, — все радиоастрономы мира знали это сто лет. Помехи и помехи. Серый снег на сером экране.

Сегодня в снегу был почерк.

Дмитрий замер. Подался к среднему монитору так близко, что увидел в стекле собственное отражение — впалые щёки, седина не по возрасту, шрам бледной запятой за левым ухом, где когда-то стоял имплант, который он выбросил. Отражение мешало. Он погасил верхний свет, и зал утонул в зелёном.

Пики шли не как попало. Они возвращались. Тяжёлый всплеск — три коротких — пауза — тяжёлый всплеск. Через

равные доли. Через одинаковые доли. Будто кто-то отбивал такт.

Любой шум можно подогнать под узор, если очень хочется его увидеть. Дмитрий это знал лучше других — десять лет он искал смысл в линиях, потому что в линиях смысл искать было безопаснее, чем в палате на третьем этаже. Поэтому он сделал то, что делают, когда не хотят обмануться: открыл архив и наложил вчерашнюю запись. Позавчерашнюю. За неделю.

Узор стоял на месте. Не плыл, не расплзался. Семь суток подряд из чёрной дыры в центре Галактики приходил один и тот же ритмический рисунок — и менялся внутри себя по строгим правилам, как тема, у которой есть развитие.

Шум не оставляет почерка. Шум нельзя продирижировать.

А это дирижировали.

Дмитрий сидел в зелёной темноте и чувствовал, как под ладонью ровно дрожит сталь, и впервые за десять лет ему стало по-настоящему страшно — тем чистым, детским страхом, когда понимаешь, что в темноте ты не один.

Палата пахла антисептиком и нагретым пластиком. Здесь у Дмитрия был седьмой экран — последний, главный, тот, ради которого существовали остальные шесть.

По нему текла третья река: кардиограмма. Соня лежала

под белым, маленькая в большой кровати, и аппарат рисовал её сердце такими же пиками и впадинами, какими антенна рисовала небо. Дмитрий давно поймал себя на том, что читает кардиомонитор как партитуру. Ровный размер. Темп — шестьдесят. Ни ускорений, ни замираний. Музыка, которая никуда не движется. Музыка, застрявшая на одной странице уже четырнадцать месяцев.

Ей было пятнадцать. На тумбочке стоял футляр со скрипкой — Дмитрий привозил его каждую неделю и увозил обратно, и сам не знал зачем. Может быть, чтобы инструмент не думал, что его бросили.

Он положил ладонь ей на грудь, под ключицу, как делал каждый раз. Поймал толчки сердца — слабые, далёкие, но честные. Соня дышала. Аппарат дышал за неё, но грудь поднималась, и это было правдой, за которую он держался.

Вошёл врач. Дмитрий повернулся к его губам — за год он научился снимать слова с чужого рта быстрее, чем когда-то слышал их.

«Динамики нет, Дмитрий Андреевич, — сказал врач, и в том, как он избегал смотреть в глаза, читалось остальное. — Я не буду вас обманывать. Чем дольше так, тем...»

— Я знаю статистику, — сказал Дмитрий. Свой голос он не слышал, но чувствовал его в гортани — низкий, осторожный, будто несёшь полное до краёв. — Скажите лучше, что нового пробуют в Хельсинки.

Врач помолчал. Потом начал терпеливо объяснять про

протоколы, про стимуляцию, про то, что чудес не бывает, а бывает уход и достоинство, — и Дмитрий перестал читать его губы и стал смотреть на Соню.

Год назад они возвращались с её конкурса. Она играла Брамса и взяла второе место и была злая и счастливая одновременно, как умеют только в пятнадцать. Шёл дождь. Она что-то рассказывала с заднего сиденья, быстро, перебивая себя, и в зеркале он видел, как она машет руками. А потом она сказала: «Папа, ты слышал?» — и он повернулся к ней ответить, всего на секунду оторвал глаза от дороги, чтобы прочитать по её губам, что именно он должен был услышать, — и это было последнее, что он услышал в своей жизни.

Что было «слышал» — он так и не узнал. Грузовик, встречная полоса, вода. Его выбросило с ушами, полными последнего на свете звука — её вопроса о звуке. Её — с головой о стойку.

«Я почию, — сказал он тогда, в реанимации, не зная, кому. — Слышишь? Я всё почию».

Он и сейчас это сказал — губами, без голоса, наклонившись к спящему лицу дочери. А потом достал телефон и в третий раз за ночь перечитал строку, которую написал себе сам: «Стрелец А — модуляция. Не шум. Почерк».

Если он умел чинить хоть что-то на свете — то это были линии на экранах. Не дороги. Не дочерей. Линии.

И там, в линиях, кто-то отбивал такт.

Он помнил один вечер — обычный, ничем не примечательный, из тех, что не бережёшь, пока они есть.

Соне было тринадцать. Тогда он ещё слышал. Тогда у него были две дочери — настоящая и музыка, которую она играла, — и он не знал, что обеих можно потерять за одну секунду на мокрой дороге.

Она занималась в своей комнате, и он, вернувшись с ночной смены, сидел на кухне и слушал через стену, как она по сотому разу проходит трудное место — два такта, спотыкается, начинает снова, спотыкается, снова. Он почти ничего не понимал в музыке, но эту злую настойчивость он понимал: так он сам сидел над сигналами, которые не давались.

— Папа, — она вышла на кухню со скрипкой, недовольная. — Ты вообще слушаешь или опять свои звёзды слушаешь?

— Я и то и другое слушаю, — сказал он. — У меня работа такая.

— Звёзды не звучат. — Она села напротив, положила скрипку на колени. — Это просто шар горячего газа. Я смотрела.

— Звучат, — сказал он. Принёс ноутбук, открыл ей запись — спектрограмму ночного сигнала, зелёные пики и впадины, опадающие сверху вниз. — Вот. Это голос одной звезды. Я не слышу его ушами — он слишком низкий, слишком медленный. Но я могу его увидеть. Смотри: вот ритм, вот

всплеск, вот тишина. Это партитура. Просто её играют так медленно, что одна нота тянется год.

Соня смотрела на зелёные линии, и недовольство на её лице сменялось чем-то другим.

— Похоже на мою музыку, — сказала она наконец. — Если записать. Так же — пики и впадины.

— Это и есть музыка, — сказал он. — Только её надо уметь увидеть, а не услышать.

Она долго молчала, разглядывая чужую звезду на экране. А потом сделала то, чего он не ждал: подняла скрипку и сказала:

— Тогда смотри. Я тебе сыграю, а ты слушай глазами. Раз ты так умеешь.

И заиграла — то самое трудное место, которое не давалось, — глядя ему в лицо, проверяя, слушает ли он глазами, как обещал. И он смотрел. Смотрел, как ходит смычок, как пальцы бегут по грифу, как всё её тело становится одной струной, как она дышит между фразами. И — странное дело — он действительно почти видел музыку: в том, как двигалась рука, в том, как менялось её лицо. Трудное место в этот раз вышло. Она опустила скрипку, торжествующая.

— Видел? — спросила она.

— Видел, — сказал он. И слышал тоже — тогда он ещё слышал, — но почему-то ему важнее было, что он увидел.

Он не знал, что запомнит этот вечер на всю оставшуюся немую жизнь. Что «ты слушаешь или опять свои звёзды»

окажется последним, что он по-настоящему услышит от живой, смеющейся дочери, до того дождя. Что однажды он будет читать музыку глазами не от любопытства, а потому что иначе не сможет, — и что в самом конце, в огне, ему придётся вспомнить её слова: смотри, я тебе сыграю, а ты слушай.

Тогда, на кухне, он просто потрепал её по волосам и сказал, чтобы шла спать, потому что поздно. И она пошла. И это тоже было обычно. И этого тоже больше не будет.

Институт встретил его дневным светом и кофейным гулом, которого Дмитрий не слышал, но видел — по тому, как у людей двигались челюсти и руки. Он шёл по коридору со своей флешкой, как идут с диагнозом.

Лера перехватила его у лифта. Молодая, с обкусанными ногтями, она была единственной, кто выучил для него жесты, — переводила совещания, дублировала на пальцах то, что не успевал прочитать по губам. В одной руке у неё всегда было два стакана кофе: один себе, один — кому-нибудь, кто забыл.

«Аникеев в бешенстве, — показала она и одновременно проговорила, чтобы он мог снять с губ. — Кто-то жаловался, что вы всю ночь жгли время на большой тарелке без заявки».

— Я нашёл, на что его жечь, — сказал Дмитрий.

В кабинете директора пахло, должно быть, его одеколоном и его властью. Аникеев носил часы дороже служебной

машины и постукивал по ним пальцем, когда хотел, чтобы разговор закончился. Сейчас он постукивал с самого начала.

Дмитрий вывел спектрограмму на стену. Показал семь суток. Показал, как узор держится. Он говорил быстро, боясь, что иначе его перебьют, — а перебивающего он не услышит и не остановит.

«Дмитрий Андреевич, — Аникеев говорил медленно, чтобы по губам читалось как снисхождение. — У нас обсерватория. Не консерватория. Вы видите ритм в стохастическом шуме. Знаете, как это называется в учебнике?»

— Знаю. Парейдолия. Лицо на Луне. Я тоже сначала так подумал и неделю проверял себя, прежде чем прийти.

«Тогда вы знаете и второе слово. — Аникеев постучал по часам. — Состояние. Вы пережили страшное. Вы держитесь, и я вас уважаю. Но человек, который не слышит и второй год живёт между телескопом и реанимацией, начинает слышать музыку там, где её нет. Это не диагноз небу. Это диагноз вам».

В зале было ещё трое сотрудников. Дмитрий не слышал смеха, но увидел его: как у одного дёрнулся угол рта, как другой опустил голову к столу, пряча лицо. «Глухой, который слышит музыку в помехах». Он понял, что эта фраза пойдёт гулять по институту ещё до обеда.

Лера у двери перестала переводить. Она просто смотрела на него — и в её взгляде не было смеха, было что-то хуже, жалость, — и Дмитрий отвернулся, потому что жалость он

переносил тяжелее насмешки.

— Дайте мне три ночи на тарелке, — сказал он. — Если узор расплзётся, я сам напишу заявление.

«Я даю вам отпуск, — ответил Аникеев и встал, что означало конец. — Идите к дочери. Идите к врачу. И уберите этот шум с моей стены».

Дмитрий собрал флешку и вышел. В коридоре Лера догнала его, сунула в руку второй стакан кофе — он остыл, она забыла его кому-то отдать, — и быстро показала, пряча пальцы вдоль бедра, чтобы никто не видел:

«Я верю, что вы что-то нашли. Просто докажите так, чтобы он не смог постучать по часам».

Доказать. Дмитрию нужна была математика — такая, которая описывала бы не «как звучит хаос», а «как может звучать машина». И он знал, что нормальная наука такой математики не пишет. Нормальная наука писала, как разлетаются обломки. А ему нужно было обратное: кто-то, кто всерьёз считал, что чёрные дыры могут что-то отбивать тактом.

Такой человек был. Один. И его в науке больше не существовало.

Он искал до рассвета.

Сначала по приличным журналам — там было пусто, как он и думал. Потом по архивам отозванных публикаций, по сноскам в чужих опровержениях, по тем кладбищам идей,

куда сваливают то, над чем смеялись. И там, в перечёркнутом, в помеченном «retracted», он нашёл единственную работу, чья математика ложилась на его узор как ключ в замок.

Одиннадцать лет назад. Препринт о «модулированных сингулярностях» — гипотеза, что сверхмассивная чёрная дыра может вести себя не как сток, а как осциллятор: излучать структурированный сигнал, фазирова падаящую материю. Над автором не просто посмеялись. Автора стёрли — отозвали гранты, закрыли лабораторию, вычеркнули из ссылок так старательно, что фамилия осталась только здесь, в подвале интернета, под красной плашкой позора.

Майя Рейес.

Дмитрий наложил её формулы на свою спектрограмму. Семь параметров. Шесть легли сразу. Седьмой не сходился — и он сидел, тупо глядя на расхождение, пока не понял: формула предсказывала, что узор должен медленно ускоряться. Тема должна разгоняться.

Он открыл вчерашнюю запись. Позавчерашнюю. За неделю.

Темп рос. Медленно, на доли процента, но рос. Машина — если это была машина — заводилась.

И тогда он сделал то, чего боялся весь день: открыл оптический архив за неделю, кадры ночного неба над станцией, и стал сравнивать звезду за звездой. Он искал не то, что появилось. Он искал то, что исчезло.

В созвездии у самого горизонта, там, куда смотрела антен-

на, неделю назад горела звёздочка восьмой величины. Слабая, безымянная, каталожный номер вместо имени.

Сегодня на её месте не было ничего.

Не вспышка. Не взрыв — взрыв он бы заметил, взрыв оставляет след. Звезда не умерла. Звезда просто перестала быть, тихо, без шума, будто кто-то снял палец со струны.

Дмитрий долго смотрел на чёрный квадратик, где раньше был свет. Потом перевёл взгляд на семь параметров Майи Рейес. Потом — на телефон, где спала кардиограмма его дочери, ровная музыка, застрявшая на одной странице.

Кто-то на том конце Галактики начал гасить звёзды по нотам. И во всём мире был ровно один человек, который однажды это предсказал, — и которого за это похоронили заживо.

Утром Дмитрий взял отпуск, который ему так щедро дали, и поехал искать мёртвых.

Часть 2. Кассандра

Колледж стоял на окраине города, которого нет на федеральных картах, — три этажа жёлтого кирпича, флаг, лужи во дворе. Дмитрий приехал к концу пар и нашёл нужную аудиторию по табличке: «Рейес М. А., физика».

Он заглянул в стеклянную дверь. У доски стояла женщина лет пятидесяти, в свитере с протёртыми локтями, и писала мелом уравнение для пустого класса — последний студент уже уходил мимо неё, не глядя. Она писала красиво, твёрдой рукой, выводя каждый знак, — а потом рука дрогнула, мел сорвался, и она оперлась о доску, чтобы устоять. На столе, среди тетрадей, стоял термос. Из тех, в которые наливают не кофе.

Дмитрий вошёл. Она обернулась — лицо умное, опухшее, с двумя резкими складками у рта, какие оставляет не возраст, а постоянная горечь.

«Если вы из проверки, — сказала она, и по губам читалась усталая насмешка, — то журнал у завуча, а я трезвее, чем кажусь, что само по себе унинительно».

— Я не из проверки. — Дмитрий протянул ей телефон. — Я глухой, читаю по губам, говорите прямо на меня. Меня зовут Дмитрий Волков, я радиоастроном. Посмотрите, пожалуйста, на это.

Она взяла телефон скорее из вежливости. На экране была

его спектрограмма — семь суток узора из Стрельца А.

Из её лица ушёл цвет.

Не постепенно — разом, как из звезды, которой он не досчитался на небе. Майя Рейес смотрела на зелёные пики, и рука с термосом опустилась, и губы её шевельнулись беззвучно, складывая что-то, что он сумел прочесть только потому, что ждал именно этих слов:

«Это не природа».

— Я знаю, — сказал Дмитрий. — Природа не считает так-ты.

Она подняла на него глаза, и в них стоял ужас человека, к которому через одиннадцать лет постучалась похороненная им самим жизнь.

«Откуда у вас мой почерк?» — спросила она.

Они сидели в её комнате при колледже — узкой, заваленной книгами и пустыми бутылками, которые она даже не пыталась спрятать. За окном моросило. Майя налила себе из термоса, ему предложила чай, он отказался. На стене висела единственная фотография: молодая, смеющаяся женщина у большого телескопа, и рядом мужчина, обнимающий её за плечи. Дмитрий узнал женщину не сразу.

«Это было до, — сказала Майя, перехватив его взгляд. — До того, как я объяснила миру, что чёрные дыры могут петь. Хотите знать, чем кончается, когда говоришь правду,

в которую никто не готов поверить? — Она подняла стакан. — Вот этим. Одиннадцать лет вот этим».

— Расскажите про модуляцию, — сказал Дмитрий. — Я прочитал вашу работу. Я понял в ней не всё.

«А никто не понял. В том и фокус». — Она усмехнулась, но в усмешке Дмитрий увидел, как ей больно говорить об этом вслух впервые за годы.

Она встала к доске — у неё и здесь была доска, маленькая, для себя, — и начала писать. И на глазах у Дмитрия пьяная, сломанная женщина исчезла, а появился физик. Рука перестала дрожать. Мел летал.

«Чёрная дыра — это сток. Туда всё падает и ничего не выходит, кроме слабого тепла по Хокингу. Все так думают. Но представьте, что кто-то управляет тем, как именно материя падает. Не „чтобы упала“ — она и так упадёт. А фазой. Ритмом. Чтобы миллиарды тонн входили под горизонт не вразнобой, а в такт, как оркестр входит в долю по руке дирижёра. Тогда сток превращается в... инструмент. В усилитель. И он начинает излучать структуру — не энергию, структуру. Партитуру».

— Зачем? — спросил Дмитрий. — Зачем кому-то дирижировать падением материи в дыру?

Майя остановилась. Посмотрела на него — и он увидел, что она подходит к краю того, за что её и распяли.

«Я так далеко не зашла, — сказала она. — Меня уничтожили на слове „может“. До „зачем“ я не дожила». — Она по-

молчала. — Но раз вы здесь, раз это правда, раз оно семь суток стоит на небе и ускоряется... значит, кто-то дожил за нас обоих. Покажите мне всё, что у вас есть».

Дмитрий выложил всё. Узор. Ускорение темпа. И последнее — чёрный квадратик там, где неделю назад горела звезда.

Майя долго смотрела на потухшую звезду. Потом отставила стакан — впервые за вечер. И больше за ним не потянулась.

«Покажите ещё раз, — сказала она тихо. — Звезду».

— Она не взорвалась. Она просто перестала быть. Как...

«Как если снять палец со струны», — закончила Майя его мыслью, и Дмитрий вздрогнул, потому что подумал теми же словами.

Она встала, подошла к окну, к мокрому стеклу. Долго молчала, и он не видел её губ, только спину. Потом обернулась.

«Я двадцать лет искала причину выпить, — сказала она. — Кажется, я только что нашла единственную в мире причину протрезветь».

Они работали трое суток в её комнате, на двух ноутбуках и одной маленькой доске, и заказывали еду, которую забывали есть. Майя считала, Дмитрий смотрел. Он был ей нужен именно глухим: там, где её ухо подсказывало «шум», его глаз

видел структуру, рисунок, диссонанс. Они дополняли друг друга, как два инвалида, у которых на двоих один здоровый орган чувств.

Узор раскрывался медленно и страшно.

Это был не просто ритм. Это была инструкция. Майя разложила сигнал на слои — несущая фаза, поверх неё медленная огибающая, поверх неё ещё одна — и каждый слой управлял своим. Один задавал, в какой момент материя входит под горизонт. Другой синхронизировал соседние области. Третий — самый медленный, едва ползущий — задавал общее направление процесса.

«Я понимаю, что это делает, — сказала Майя на третью ночь, и лицо у неё было серое. — Я не хочу понимать, но я понимаю. Эта штука не просто гасит звёзды. Она их... убивает по очереди. Фронтом. Смотрите».

Она вывела на экран модель. Галактика, спираль из ста миллиардов огней. И по ней, от центра наружу, ползла тёмная граница — линия, за которой звёзды переставали быть. Медленно, но неотвратимо. И эта граница уже прошла четверть пути к рукаву, в котором висело маленькое жёлтое солнце с третьей планетой.

— Сколько? — спросил Дмитрий. Он имел в виду не «сколько до Земли». Он имел в виду «сколько у Сони».

«До нас — годы. Может, десятки лет, фронт идёт медленно. — Майя потёрла лицо. — Но дело не в этом, Дмитрий. Дело в том, куда оно идёт. Самый медленный слой, тот, что

задаёт направление... он сводит всё к центру. Эта машина не гасит Галактику ради того, чтобы погасить Галактику. Это промежуточная стадия. Она сворачивает материю обратно. Собирает. К одной точке».

Дмитрий смотрел на тёмную границу, ползущую по огням.

— К единой сингулярности, — сказал он. Это была не догадка. Это просто было единственное, к чему вела математика.

«Вся Галактика. Потом, видимо, всё, до чего дотянется. — Майя говорила ровно, как читают приговор, чтобы не сорваться. — В одну чёрную дыру. А чёрная дыра испаряется по Хокингу. И из её испарения, если верить кое-каким безумным гипотезам, в которые я раньше не верила, может... родиться. Новое. Новая вселенная, с новыми константами, с чистого листа».

В комнате стало очень тихо — для Дмитрия в комнате всегда было очень тихо, но сейчас он почувствовал эту тишину как давление.

— Кто-то, — медленно сказал он, складывая немыслимое, — построил машину, чтобы свернуть нашу Вселенную в точку. И запустить из неё новую. И это не природа. У этого есть фаза, ритм, направление. У этого есть дирижёр.

«У этого есть дирижёр», — повторила Майя одними губами.

Они сидели среди пустых коробок из-под еды, два челове-

ка, которым никто не верил, и держали в руках доказательство конца света — не метафорического, а буквального, расписанного по нотам и уже идущего. И во всём этом было что-то непристойно одинокое: знать самое страшное, что можно знать, — и знать, что мир тебе не поверит, потому что мир уже один раз посмеялся над той, что говорит.

— Мы должны это остановить, — сказал Дмитрий.

Майя посмотрела на него так, будто он сказал, что должен остановить рассвет.

«Дмитрий. Это построила цивилизация, которая умеет играть на чёрных дырах. А мы — спившийся физик из колледжа и глухой астроном в отпуске за психику. Что мы остановим?»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.